ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Владимир Владимирович Маяковский
Стихотворения и поэмы
Серия «Школьное чтение (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=34038897
Стихотворения и поэмы:
ISBN 978-5-17-108265-9, 978-5-17-108264-2

Аннотация

Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930) – один из крупнейших русских поэтов, новаторское творчество которого имело огромное значение для всей поэзии XX века. На формирование мировоззрения поэта особенно повлияли демократическая атмосфера, царившая в семье, и первая русская революция. В. Маяковский решил посвятить свое творчество борьбе с существовавшим тогда строем. Главной задачей поэт считал с помощью своих стихов приближать будущее. Назначение поэта – нести свет людям: свет звезд и свет солнца («Послушайте!», «Необычайное происшествие…»). Маяковский – оратор и лирик. Его агитационные и лирические стихи обращены к широким массам и лично к каждому. Поэту необходим задушевный разговор с читателем («А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно»). В сборник вошли стихотворения и поэмы, написанные в разные годы жизни поэта.

Содержание

Стихотворения 6
Ночь 6
Утро 7
Порт 9
Из улицы в улицу 10
А вы могли бы? 12
Вывескам 13
Любовь 14
Я 15
Адище города 20
Нате! 21
Послушайте! 22
Мама и убитый немцами вечер 24
Скрипка и немножко нервно 27
Вам! 29
Гимн обеду 30
Надоело 32
Себе, любимому, Посвящает эти строки автор 35
России 38
Хорошее отношение к лошадям 40
Необычайное приключение, Бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче 43
О дряни 49

Прозаседавшиеся 52
Париж 55
Весенний вопрос 61
Юбилейное 65
Прощанье 78
Бродвей 79
Домой! 83
Сергею Есенину 88
Товарищу Нетте – пароходу и человеку 96
Стихи о советском паспорте 100
Стихи для детей 105
Что такое хорошо и что такое плохо? 105
Что ни страница – то слон, то львица 110
Кем быть? 113
Поэмы 123
Облако в штанах 123
Люблю 156
Про это 171
Во весь голос 175

Владимир Владимирович Маяковский
Стихотворения и поэмы

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Стихотворения

Ночь

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.
Бульварам и площади было не странно
увидеть на зданиях синие тоги.
И раньше бегущим, *как* желтые раны,
огни обручали браслетами ноги.
Толпа – пестрошерстая быстрая кошка —
плыла, изгибаясь, дверями влекома;
каждый хотел протащить хоть немножко
громаду из смеха отлитого кома.
Я, чувствуя платья зовущие лапы,
в глаза им улыбку протиснул; пугая
дарами в жесть, хохотали арапы,
над лбом расцветивши крыло попугая.

1912

Утро

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги. Но гибель фонарей,
царей
в короне газа,
для глаза
сделала больней
враждующий букет бульварных
проституток.
И жуток
шуток
клюющий смех —
из желтых
ядовитых роз
возрос
зигзагом.
За гам
и жуть
взглянуть

отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу.

1912

Порт

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы – как будто лили
любовь и похоть медью труб.

Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В углах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

1912

Из улицы в улицу

У
лица.
Лица
у
догов
годов резче.
Че
рез
железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы.
Лебеди шей колокольных,
гнитесь в силках проводов!
В небе жирафий рисунок готов
выпестрить ржавые чубы.
Пестр, как форель,
сын
безузорной пашни.
Фокусник
рельсы
тянет из пасти трамвая,
скрыт циферблатами башни.
Мы завоеваны!
Ванны.
Души.

Лифт.
Лиф души расстегнули.
Тело жгут руки.
Кричи, не кричи:
«Я не хотела!» —
резок
жгут
муки.
Ветер колючий
трубе
вырывает
дымчатой шерсти клок.
Лысый фонарь
сладострастно снимает
с улицы
черный чулок.

1913

А вы могли бы?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

Вывескам

Читайте железные книги!
Под флейту золо́ченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.
А если веселостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.
Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

1913

Любовь

Девушка пугливо куталась в болото,
ширились зловеще лягушечьи мотивы,
в рельсах колебался рыжеватый кто-то,
и укорно в буклях проходили
локомотивы.

В облачные па́ры сквозь солнечный
угар
врезалось бешенство ветряно́й мазурки,
и вот я – озноенный июльский
тротуар,
а женщина поцелуи бросает – окурки!

Бросьте города, глупые люди!
Идите голые лить на солнцепеке
пьяные вина в меха-груди,
дождь-поцелуи в угли-щеки.

1913

Я

1

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле о́блака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
ра́спяты
городовые.

2

Несколько слов о моей жене

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий
пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня

в чулке ажурном
у кофеен!

3

Несколько слов о моей маме

У меня есть мама на васильковых обоях.
А я гуляю в пестрых павах,
вихрастые ромашки, шагом меряя, мучу.
Заиграет вечер на гобоях ржавых,
подхожу к окошку,
веря,
что увижу опять
севшую
на дом
тучу.
А у мамы больной
пробегают народа шорохи
от кровати до угла пустого.
Мама знает —
это мысли сумасшедшей ворохи
вылезают из-за крыш завода Шустова.
И когда мой лоб, венчанный шляпой
фетровой,

окровавит гаснущая рама,
я скажу,
раздвинув басом ветра вой:
«Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, —
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?..»

4

Несколько слов обо мне самом

Я люблю смотреть, как умирают дети.
Вы прибоя смеха мглистый вал заметили
за тоски хоботом?
А я —
в читальне улиц —
так часто перелистывал гро́ба том.
Полночь
промокшими пальцами щупала
меня
и забитый забор,
и с каплями ливня на лысине купола

скакал сумасшедший собор.
Я вижу, Христос из иконы бежал,
хитона оветренный край
целовала, плача, слякоть.
Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

1913

Адище города

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светами адки.
Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,
над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечереющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

1913

Нате!

Через час отсюда в чистый переулок
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
а я вам открыл столько стихов шкатулок,
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста
где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,
вы смотрите устрицей из раковин вещей.
Все вы на бабочку поэтиного сердца
взгромоздитесь, грязные, в калошах
и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,
ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,
кривляться перед вами не захочется —
и вот
я захохочу и радостно плюну,
плюну в лицо вам
я – бесценных слов транжир и мот.

1913

Послушайте!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плево́чки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!

Ведь, если звезды
зажигают —
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

Мама и убитый немцами вечер

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу
глазет.
Вплакались в орущих о побитом
неприятеле:
«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Письмо.

Мама, громче!
Дым.
Дым.
Дым еще!
Что вы мямлите, мама, мне?
Видите —
весь воздух вымощен
громыхающим под ядрами камнем!
Ма – а – а – ма!
Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.

Звезды в платочках из синего ситца
визжали:
«Убит,
дорогой,
дорогой мой!»
И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.
А вечер кричит,
безногий,
безрукий:
«Неправда,
я еще могу-с —
хе! —
выбряцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русый ус!»
Звонок.
Что вы,
мама?
Белая, белая, как на гробе глазет.
«Оставьте!
О нем это,
об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,
закройте глаза газет!»

1914

Скрипка и немножко нервно

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,

вытри!» —
я встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
Бросился на деревянную шею:

«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне – наплевать!
Я – хороший.
«Знаете что, скрипка?
Давайте —
будем жить вместе!
А?»

1914

Вам!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных
к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие, нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре… буду
подавать ананасную воду!

1915

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет
миллионов —
твоих четыреста тысяч».

1915

Надоело

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.
Сияние.
Надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
«Назад,
наз-зад,
назад!»
Страх орет из сердца,
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.

Вижу,
вправо немножко,

неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.
Глядишь и не знаешь: дышит или
не дышит он.
Два аршина безлицего розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.
Сердце в исступлении,
рвет и мечет.
«Назад же!
Чего еще?»

Влево смотрю.
Рот разинул.
Обернулся к первому, и стало иначе:
для увидевшего вторую образину
первый —
воскресший Леонардо да Винчи.
Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Брошусь на землю,
камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт
омывая.
Истомившимися по ласке губами тысячью
поцелуев покрою
умную морду трамвая.
В дом уйду.
Прилипну к обоям.
Где роза есть нежнее и чайнее?
Хочешь —
тебе
рябое
прочту «Простое как мычание»?

Для истории

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет – помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

1916

Себе, любимому, Посвящает эти строки автор

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю – богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,

бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром, —
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я

тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,

недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

России

Вот иду я,
заморский страус,
в перьях строф, размеров и рифм.

Спрятать голову, глупый, стараюсь,
в оперенье звенящее врыв.

Я не твой, снеговая уродина.
Глубже
в перья, душа, уложись!
И иная окажется родина,
вижу —
выжжена южная жизнь.

Остров зноя.
В пальмы овазился.
«Эй,
дорогу!»
Выдумку мнут.
И опять
до другого оазиса
вью следы песками минут.
Иные жмутся —
уйти б,

не кусается ль? —
Иные изогнуты в низкую лесть.
«Мама,
а мама,
несет он яйца?» —

«Не знаю, душечка.
Должен бы несть».

Ржут этажия.
Улицы пялятся.
Обдают водой холода́.
Весь истыканный в дымы и в пальцы,
переваливаю года.
Что ж, бери меня хваткой мёрзкой!
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декабрей.

1916

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.
Пели будто:
– Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
– Лошадь упала! —
– Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные…

Улица опрокинулась,
течет по-своему…
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в ше́рсти…

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть,
– старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя
казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.

Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

1918

Необычайное приключение, Бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, Дача румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,

жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра

снова
мир залить
вставало солнце а́ло.

И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут – не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,

по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,

валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —

сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь – не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
– Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь – и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.

И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,

взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг – я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,

светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон
Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,

говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»

А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.

Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920–1921

Прозаседавшиеся

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!

Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся
разум.
И слышу

спокойнейший голосок секретаря:
«Оне на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех
заседаний!»

1922

Париж
(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан мильоном ног.
Исшелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня —
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde[1].
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слежкою ума́яна,
ко мне,
к большевику,
на явку

[1] Площадь Согласия *(фр.)*.

выходит Эйфелева из тумана.
Т-ш-ш-ш,
башня,
тише шлепайте! —
увидят! —
луна – гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришипился в шепоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу):
Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем.
Башня —
хотите возглавить восстание?
Башня – мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место – место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились,

метро со мною —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоют
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!
Если
метро не выпустит уличный грунт —
грунт
исполосуют рельсы.
Я подымаю рельсовый бунт.
Боитесь?
Трактиры заступятся стаями?
Боитесь?
На помощь придет Рив-гош[2]
Не бойтесь!

[2] Левый берег *(фр.)*.

Я уговорился с мостами.
Вплавь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалясь от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют.
По первому зову —
прохожих ссыпят на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невмоготу.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня!
К нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!

В блестенье стали,
в дымах —
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.
Идем в Москву!
У нас
в Москве
простор.
Вы
– каждой! —
будете по улице иметь.
Мы
будем холить вас:
раз сто за день
до солнц расчистим вашу сталь и медь.
Пусть
город ваш,
Париж франтих и дур,
Париж бульварных ротозеев,
кончается один, в сплошной складбищась
Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев.
Вперед!
Шагни четверкой мощных лап,
прибитых чертежами Эйфеля,
чтоб в нашем небе твой израдиило лоб,
чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!
Решайтесь, башня, —
нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

1923

Весенний вопрос

Страшное у меня горе.
Вероятно —
лишусь сна.
Вы понимаете,
вскоре
в РСФСР
придет весна.
Сегодня
и завтра
и веков испокон
шатается комната —
солнца пропойца.
Невозможно работать.
Определенно обеспокоен.
А ведь откровенно говоря —
совершенно не из-за чего беспокоиться.
Если подойти серьезно —
так-то оно так.
Солнце посветит —
и пройдет мимо.
А вот попробуй —
от окна оттяни кота.
А если и животное интересуется улицей,
то мне
это —

просто необходимо.
На улицу вышел
и встал в лени я,
не в силах…
не сдвинуть с места тело.
Нет совершенно
ни малейшего представления,
что ж теперь, собственно говоря, делать?!
И за шиворот
и по носу
каплет безбожно.
Слушаешь.
Не смахиваешь.
Будто стих.
Юридически —
куда хочешь идти можно,
но фактически —
сдвинуться
никакой возможности.
Я, например,
считаюсь хорошим поэтом.
Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогон – большое зло».
А что про это?
Чем про это?
Ну нет совершенно никаких слов.
Например:

город советские служащие искрапили,
приветствуй весну,
ответь салютно!
Разучились —
нечем ответить на капли.
Ну, не могут сказать —
ни слова.
Абсолютно!
Стали вот так вот —
смотрят рассеянно.
Наблюдают —
скалывают дворники лед.
Под башмаками вода.
Бассейны.
Сбоку брызжет.
Сверху льет.
Надо принять какие-то меры.
Ну, не знаю что, —
например:
выбрать день
самый синий,
и чтоб на улицах
улыбающиеся милиционеры
всем
в этот день
раздавали апельсины.
Если это дорого —
можно выбрать дешевле,
проще.

Например:
чтоб старики,
безработные,
неучащаяся детвора
в 12 часов
ежедневно
собирались на Советской
площади,
троекратно кричали б:
ура!
ура!
ура!
Ведь все другие вопросы
более или менее ясны.
И относительно хлеба ясно,
и относительно мира ведь.
Но этот
кардинальный вопрос
относительно весны
нужно
во что бы то ни стало
теперь же урегулировать.

1923

Юбилейное
Александр Сергеевич, разрешите представиться
Маяковский

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон:
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам

потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать, болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!
Нет,

не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.
Только
жабры рифм
топырит учащённо
у таких, как мы,
на поэтическом песке.
Вред – мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.
Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.
Нами
лирика
в штыки неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.

Например,
вот это —
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
знаю
способ старый
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
выплывают
Red и White Star'ы[3]
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..

[3] Красные и белые звезды *(англ.)*.

Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
– Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я. —
Было всякое:
и под окном стояние,
пи́сьма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергеич,
много тяжелей.
Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.

Нет,
не старость этому имя!
Ту́шу
вперед стремя́,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
Entre nous…[4]
чтоб цензор не нацыкал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергеич,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,

[4] Между нами *(фр.)*.

что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.
После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
с кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нища́.
Между нами
– вот беда —
позатесался На́дсон.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов

Коля,
сын покойного Алеши, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни о́тдав.
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой
однаробразный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою

в перчатках лаечных.
Раз послушаешь…
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так…
ничего…
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы

и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
– вот так-то, мол,
и так-то…
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и су́кна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.
(Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее

онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с пережавленным.
– Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
а состязается —
с Державиным…
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.
Вы
по-моему́
при жизни
– думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
– А ваши *кто* родители?
Чем вы занимались

до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести…
пулею сражен…
Их
и по сегодня
много ходит —
всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот
поэтов,
к сожаленью, нету —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы
милиционер
разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну, давайте,
подсажу
на пьедестал.
Мне бы
памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
– ну-ка,
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!

1924

Прощанье

В авто,
последний франк разменяв.
– В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

1925

Бродвей

Асфальт – стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —

отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек моней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а долла́р —
занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны

едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты
осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —

мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа 1925 г., Нью-Йорк

Домой!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен, —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня…»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня

и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за́ сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —
низом шахт,
серпов
и вил, —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Все равно —

сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?
Вот лежу,
уехавший за воды,
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали

после служебных тя́гот.
Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания на год.
Я хочу,

чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спе́ца
получало
любовищу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так…
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов

выше
довоенной нормы…»

1925

Сергею Есенину

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота…
Летите,
В звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
– Прекратите!
Бросьте!
Вы в своём уме ли?
Дать,
чтоб щёки

заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.
Критики бормочут:
– Этому вина
то…
да сё…
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс – он тоже

выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по сто,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись

чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!
Навсегда
теперь
язык
в зубах затворится.
Тяжело
и неуместно
разводить мистерии.
у народа,
у языкотворца,
умер
звонкий
забулдыга подмастерье.
И несут
стихов заупокойный лом,

с прошлых
с похорон
не переделавши почти.
В холм
тупые рифмы
загонять колом —
разве так
поэта
надо бы почтить?
Вам
и памятник ещё не слит, —
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решёткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь.
Ваше имя
в платочки рассоплено,
ваше слово
слюнявит Собинов
и выводит
под берёзкой дохлой —
«Ни слова,
о дру-уг мой,
ни вздо-о-о-о-ха».
Эх,

поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лоэнгринычем!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
– Не позволю
мямлить стих
и мять! —

Оглушить бы
их
трёхпалым свистом
в бабушку
и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —

только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
Трудновато для пера,
Но скажите,
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протоптанней
и легше?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
Чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только
путаницу волос.

Для веселия
планета наша мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней,
В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
Значительно трудней.

1926

Товарищу Нетте – пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор Нетте».
Это – он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
– Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел…
Помнишь, Нетте, —
в бытность человеком

ты пивал чаи
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел…
Суньтеся —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здóрово!
Залегла,
просторы нáдвое порвав.
Будто нáвек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,

светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,

воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

15 июля 1926 г., Ялта

Стихи о советском паспорте

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
Сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.

С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою.
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
Паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.
На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,

не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогам,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще глаз носильщика, хоть вещи

снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

Стихи для детей

Что такое хорошо и что такое плохо?

Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
– Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
– Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал, —
каждый знает —
это вот
для прогулок

плохо.
Дождь покапал
и прошёл.
Солнце
в целом свете.
Это —
очень хорошо
и большим
и детям.
Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице, —
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей
кожицы.
Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.
Если бьёт
дрянной драчун
слабого мальчишку,

я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.
Этот вот кричит:
– Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!
Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны

карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.

Он,
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.
Мальчик
радостный пошёл,
и решила кроха:
«Буду
делать – *хорошо*,
и не буду —
плохо».

1925

Что ни страница – то слон, то львица

Льва показываю я,
посмотрите нате —
он теперь не царь зверья,
просто председатель.

Этот зверь зовётся лама.
Лама дочь
и лама мама.
Маленький пеликан
и пеликан-великан.
Как живые в нашей книжке
слон,
слониха
и слонишки.
Двух- и трёхэтажный рост,
с блюдо уха оба,
впереди на морде хвост
под названьем «хобот».
Сколько им еды, питья,
сколько платья снашивать!
Даже ихнее дитя
ростом с папу с нашего.
Всех прошу посторониться,
разевай пошире рот, —
для таких мала страница,

дали целый разворот.

Крокодил. Гроза детей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
и пока не виден.

Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь
и ездят люди.
Он живёт среди пустынь,
ест невкусные кусты,
он в работе круглый год —
он,
верблюд,
рабочий скот.

Кенгуру.
Смешная очень.
Руки вдвое короче.
Но за это
у ней
ноги вдвое длинней.

Жираф-длинношейка —
ему
никак
для шеи не выбрать воротника.
Жирафке лучше:

жирафу-мать
есть
жирафёнку
за что обнимать.

Обезьян
смешнее нет.
Что сидеть как статуя?!
Человеческий портрет,
даром что хвостатая.
Зверю холодно зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.
Пора домой.
До свиданья, зверики!

1926

Кем быть?

У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала
мы
берём бревно
и пилим доски
длинные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Из-под пилки
сыплются опилки.

Рубанок
в руки —

работа другая:
сучки, закорюки
рубанком стругаем.
Хороши стружки —
жёлтые игрушки.

А если
нужен шар нам
круглый очень,
на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру хорошо,
а инженеру —
лучше,
я бы строить дом пошёл —
пусть меня научат.

Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.

Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.
Это будет
перёд,
называется фасад.
Это
каждый разберёт —
это ванна,
это сад.
План готов,
и вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
визжит лебёдка;
подымает балки,
будто палки.
Перетащит кирпичи,
закалённые в печи́.
По крыше выложили жесть.
И дом готов,
и крыша есть.
Хороший дом,

большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нём
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше,
я б детей лечить пошёл —
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
– Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живёте,
как животик? —
Погляжу
из очков
кончики язычков.
– Поставьте этот градусник
под мышку, детишки! —
И ставят дети радостно
градусник под мышки.
– Вам бы
очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
ложечкой
пить понемножечку.

Вам
в постельку лечь
поспать бы,
вам —
компрессик на живот,
и тогда
у вас
до свадьбы
всё, конечно, заживёт.
Докторам хорошо,
а рабочим —
лучше,
я б в рабочие пошёл,
пусть меня научат.
Вставай!
Иди!
Гудок зовёт —
и мы приходим на завод.
Народа – уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе.
Можем
Железо
ножницами резать,
краном висящим
тяжести тащим;
молот паровой
гнёт и рельсы травой.

Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки
делаешь винты.
И идёт
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе сбей огромные.
Там —
дым,
здесь —
гром.
Громим весь дом.
И вот
вылазит паровоз,

чтоб вас
и нас
и нёс
и вёз.
На заводе хорошо,

а в трамвае —
лучше,
я б кондуктором пошёл,
пусть меня научат.
Кондукторам
езда везде.
С большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.

– Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые —
зелёные,
красные
и голубые. —
Ездим рельсами.

Окончилась рельса,
и слезли у леса мы —
садись
и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шофёру —
лучше,
я б в шофёры пошёл,

пусть меня научат.
Фырчит машина скорая,

летит скользя,
хороший шофёр я —
сдержать нельзя.

Только скажите,
вам куда надо —
без рельсы
жителей
доставлю на дом.
Е —
дем,
ду —
дим:
«С пу —
ти
уй —
ди!»

Быть шофёром хорошо,
а лётчиком —
лучше,
я бы в лётчики пошёл —
пусть меня научат.

Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.

«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».

Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довёз
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звёзд
от нас отдалены».

Лётчику хорошо,
а матросу —
лучше,
я б в матросы пошёл —

пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске —
якоря.

Я проплавал это лето,
океаны покоря.

Напрасно, волны, скачете —
морской дорожкой,
на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная, —
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

1928

Поэмы

Облако в штанах
Тетраптих

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной
кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца
лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий,

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!

Мир огро́мив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходи́те учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», – сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрый.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.

Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце – холодной железкою.

Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом, в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот, —

сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —

большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —
из тины не вытянуться
отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала;
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходи́те,
Ничего.
Покреплюсь.
Видите – спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:

Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть», —
а я одно видел:
вы – Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители

святотатств,

преступлений,
боен, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда

я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо

Allo!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,

выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.

Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,

как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо

высил
горящие руки «Лузитании».
Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний, —
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»[5].
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —

[5] «ничто» (*лат.*).

книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,

и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипячивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi[6] и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки площе.

[6] такси (*фр.*).

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хóрах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется – «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,

и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет
скользящего с Мефистофелем
в небесном паркете!

Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!

Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъя́звили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,

морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы – молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас – его предтеча;
я – где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
ра́спял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я

душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,

пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на…

А из сигарного дыма
ликерного рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,

как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,

а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,

резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршнью обрызганных предательством
звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:

в углу – глаза круглы, —
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь – опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики – отцы,
девочки – забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,

и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,

может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,

как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,

пресный,
я приду

и беззубо прошамкаю,

что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четыреэтажных
зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
– опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником
труп,

а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом
атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое
слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную
руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло
звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь – натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою
сидят, —

это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных
любят.

Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
«любящие Маяковского!» —

да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,

а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария – дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то

в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит – опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.

Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —

миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на́ ухо:

– Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте – знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу

хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж

со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.

Хочешь?

Не хочешь?

Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?

Я тоже ангел, я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской му́ки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.

Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!

Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914–1915

Люблю

Обыкновенно так

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на́ день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело – рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот!—
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.

Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей
машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,

поцветет —
и скукожится.

Мальчишкой

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я —
убег на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьём под забором
в «три листика».

Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —

пока под ложечкой не заноет.

Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!

А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»

Юношей

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

В вашем
квартирном

маленьком мирике

для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих
лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на́ море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазна́ются.
«Чего – мол стоют лучёнышки эти?»

А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы – всё на свете.

Мой университет

Французский знаете.
Де́лите.
Множите.
Склоняете чу́дно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?

Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человечий
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее,—
учат.
И вся она – с крохотный глобус.
А я
боками учил географию,—
недаром же

наземь
ночёвкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских больные вопросы:
– Была ль рыжа борода Барбароссы?—

Пускай!
Не копаюсь в пропы́ленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть),—
фамилья ж против,
скулит родовая.

Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбёнками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.

Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши – что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая – флюгер.

Взрослое

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за́ сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.

Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,

Страстно́ю площадью лёжа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди – любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный – просто
несносен.

Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

Что вышло

Больше чем можно,

больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно слажен,—
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
– и не вылиться —
некуда, кажется – полнится заново.
Я вытомлен лирикой —

мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

Зову

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!

Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом,—
дамьё
от меня

ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,

нам вроде танго бы…»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!

Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

Ты

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —

где дама вкопалась,
а где девица.

«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»

А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

Невозможно

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.

Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладем в несгораемый».

Любовь

в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.

И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полно́чи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

Так и со мной

Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней —
я же люблю!—

тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.

Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.

Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь,—
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

Вывод

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.

Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих
строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

Про это

Про что – про это?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нём хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придёт,
калеку за локти
подтолкнёт к бумаге,
прикажет:

– Скреби! —

И калека
с бумаги
срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придёт,
позвони́тся с кухни,
повернётся,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придёт,
прикажет:
– Истина! —
Эта тема придёт,
велит:
– Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
– А —
недоступней Казбека.

Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придёт,
вовек не износится,
только скажет:
– Отныне гляди на меня! —
И глядишь на неё,
и идёшь знаменосцем,
красношёлкий огонь над землёй знаменя.
Это хитрая тема!
Нырнёт под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
– посмели забыть её! —
затрясёт;
посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
– Подать
дней удила! —
Посмотрела, скривясь, в моё ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
остальные оттёрла
и одна
безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!

От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень

колотись – велела – строчками лбов.
Имя
этой
теме:
……!

1922–1933

Во весь голос
Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г….,
наших дней изучая потёмки,

вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш учёный,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипячёной
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушёл на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадила садик мило,
дочка,
дачка,
водь
и гладь —
сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льёт из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их к чёрту разберёт!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н…»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,

где харкает туберкулёз,
где б… с хулиганом
да сифилис.
И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далекó

не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдёт
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдёт,
но он дойдёт не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
нумизмату стёршийся пятак
и не как свет умерших звёзд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвёт
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошёл водопровод,
сработанный
ещё рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением

ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,
готовая
рвануться в гике,
застыла

кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооружённые войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
идти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,

в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боёв
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них.
Пускай
за гениями
безутешною вдовой
плетётся слава
в похоронном марше —
умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мёрли наши!
Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтёмся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет

построенный
в боях
социализм.
Потомки,
словарей проверьте поплавки:
из Леты
выплывут
остатки слов таких,
как «проституция»,
«туберкулёз»,
«блокада».
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай
быстрей протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне

и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на́ дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Декабрь 1929 – январь 1930